

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2024. Т. 7, № 1. С. 54–76.

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2024. Vol. 7, no. 1. P. 54–76.

Научная статья / Original article

УДК 008

doi:10.17323/2658-5413-2024-7-1-54-76

А. С. ПУШКИН И КРИЗИС КУЛЬТУРЫ: К ВОПРОСУ О РЕЦЕПЦИИ ГЁТЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА



Ренард Тимурович Девликамов

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва, Россия,
renardik2003@gmail.com

 **Аннотация.** В статье рассматривается рецепция Гёте в творчестве Пушкина периода первой Болдинской осени. Новизна статьи заключается в том, что в контексте интеллектуального диалога Пушкина с Гёте именно 1830 год остался неизученным. В этой связи автор ставит перед собой цель зафиксировать трансформацию гётеанских сюжетов в первую Болдинскую осень. Статья актуальна тем, что главной темой, сблизившей творчество немецкого и русского классиков, является кризис европейской культуры как таковой, с последствиями которого мы сталкиваемся и сегодня. Именно на проблеме культуры, как ее видели два гения, заострил внимание автор.

 **Ключевые слова:** А. С. Пушкин, И. В. Гёте, Фауст, Болдинская осень, кризис культуры

© Девликамов Р. Т., 2024



Благодарности: Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).



Ссылка для цитирования: Девликамов Р. Т. А. С. Пушкин и кризис культуры: к вопросу о рецепции Гёте в творчестве Пушкина // *Философические письма. Русско-европейский диалог*. 2024. Т. 7, № 1. С. 54–76.
doi:10.17323/2658-5413-2024-7-1-54-76.

Europe and Russia: Paradoxes of Kinship

A. S. PUSHKIN AND THE CRISIS OF CULTURE: ON THE QUESTION OF GOETHE'S
RECEPTION IN PUSHKIN'S WORK

Renard T. Devlikamov

National Research University “Higher School of Economics” (HSE University),
Moscow, Russia, renardik2003@gmail.com



Abstract. The article examines the reception of Goethe in Pushkin's works of the period of the first Boldin autumn. The novelty of the article lies in the fact that in the context of Pushkin's intellectual dialogue with Goethe, it was the year 1830 that remained unexplored. In this regard, the author sets a goal to record the transformation of goethean plots in the first Boldin autumn. The article is relevant because the main theme that brought the creativity of the German and Russian classics closer together is the crisis of European culture as such, the consequences of which we are still facing today. It was on the problem of culture, as seen by two geniuses, that the author focused his attention.



Keywords: A. S. Pushkin, I. V. Goethe, Faust, Boldino autumn, crisis of culture



Acknowledgments: The article was prepared within the framework of the Basic Research Program at the National Research University “Higher School of Economics” (HSE University).



For citation: Devlikamov, R. T. (2024) “A. S. Pushkin and the crisis of culture: on the question of Goethe’s reception in Pushkin’s work”, *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 6(4), pp. 54–76. (In Russ.). doi:10.17323/2658-5413-2024-7-1-54-76.

Тема «Пушкин и Гёте» не нова. Известно, что произведения немецкого классика не просто были знакомы русскому поэту, они становились предметом его многолетних размышлений. В исследовательском поле уделено большое внимание гётеанским мотивам в произведениях, написанных до 1830 года («Сцена из Фауста», «Кавказский пленник», «Демон», «К***» и др.) и после (например, «Пиковая дама»). Однако в контексте интеллектуального диалога Пушкина с Гёте именно 1830 год — один из плодотворных и поворотных периодов творчества поэта — остался неизученным. В этой связи я хочу зафиксировать трансформацию гётеанских сюжетов в первую Болдинскую осень. Моя главная задача — не углубиться в идейный мир Гёте (хотя это необходимо при изучении обозначенной темы), а понять, что увидел Пушкин в тех проблемах, которые вбросил Гёте в европейскую интеллектуальную среду. По мере знакомства с материалом и по мере его осмысления стало ясно, что, пожалуй, главной такой проблемой является кризис европейской культуры как таковой. Замечу, не кризис какой-то определенной эпохи (например, модерна), а, повторюсь, *кризис культуры как таковой*.

В этой работе я концентрирую основное внимание на «диагнозе», который Пушкин, продолжая и своеобразно развивая идеи Гёте, поставил Европе. Статья поделена на две части. В первой раскрывается интеллектуальная близость и некоторая преемственность двух мыслителей, показывается, на что обратили внимание исследователи и в какой идейной области прослеживается диалог между Пушкиным и Гёте. Во второй части статьи я анализирую развитие идей, связанных с творчеством Гёте и кризисом культуры, в первую Болдинскую осень.

1

Пушкин был знаком с творчеством Гёте с ранних лет. Уже в первых поэтических пробах русского поэта фигурируют сюжеты немецкого классика. Впервые Пушкин использует гётеанский или аналогичный ему сюжет в шестнадцатилетнем возрасте в стихотворении «Гроб Анакреона» (1815), тема которого, скорее всего, была заимствована непосредственно из одноименного стихотворения Гёте «Anakreons Grab» (1785) [Данилевский, 2004, с. 99]. Пятью годами позже Пушкин пишет балладу «Русалка», в которой он шутливо отталкивается от только что переведенной Жуковским баллады «Рыбак» Гёте [Альтшуллер, 2021, с. 103].

В 1821 году Пушкин намеревался использовать в качестве эпиграфа к поэме «Кавказский пленник» стих из «Пролога в театре» «*Gib meine Jugend mir zurück*» («*Дни юности моей верни*») [Пушкин, 1959–1962, т. 3, с. 433]. Как пишет

О. Б. Лебедева, «если учесть два обстоятельства — то, что гетевский пролог предпослан драме, и то, что в поэме “Кавказский пленник” дан первый эскизный очерк того эпохального национального характера, который полностью будет развернут в “Евгении Онегине”, становится очевидно: у самых истоков пушкинского лироэпического замысла обнаруживается его глубокий драматургический потенциал (курсив мой. — Р. Д.)» [Лебедева, 2002, с. 129]. Добавим, что после 1821 года Фауст еще не раз напрямую появится в пушкинских текстах. Это дает веские основания полагать, что перед нами не простые «одноразовые» отсылки к Гёте, а долгий и сложный процесс осмысления Пушкиным тех вопросов, которые он вычитывал в «Фаусте».

Г. М. Фридендер обратил внимание на близость между той ролью, которую сыграло в жизни Гёте его путешествие в Италию, и значением для Пушкина пребывания в южной ссылке — Крыму и Молдавии. Оба соприкоснулись на юге с миром Античности, и это подтолкнуло поэтов «сплавить» в своем творчестве античное и современное в единое целое. Исследователь считает, что развалины древнегреческих храмов и Бахчисарайский фонтан возбуждали в Пушкине близкую Гёте мысль «о победе духовной красоты и человечности над жестокостью и варварством». Более того, здесь, по мнению Фридендера, прослеживается «далекий от байронических настроений поворот художественной мысли», который роднит «Бахчисарайский фонтан» с пафосом гётевской «Ифигении в Тавриде», «запечатлевшей в другой художественной форме сходный поворот в развитии Гёте от романтического титанизма и индивидуализма периода “бури и натиска” к идеям торжества высшей гуманности и всечеловеческой справедливости» [Фридендер, 1995, с. 74]. Еще одним свидетельством параллелизма мышлений двух классиков стало обращение к мусульманскому Востоку. С. С. Аверинцев буквально поражается тому, что «Пушкин, почти несомненно не зная о вышедшем еще в 1819 году, но не имевшем тогда резонанса “Западно-восточном диване”, так близко подошел к нему пятью годами позже в своих “Подражаниях Корану”». Оба, Пушкин и Гёте, вслед за Монтескье и Вольтером выдвинули «фигуру идеализированного мусульманина в роли критика европейских предрассудков»¹, и у обоих обнаруживается «внутреннее сродство между идеализированным исламом и стремлением просветительского религиозного сознания к возможно более очищенному монотеизму как предполагаемой “естественной” форме веры» [Аверинцев, 1999, с. 193].

¹ Как заметил Аверинцев, и Пушкин, и Гёте, не стовариваясь, использовали образ мусульманина для критики «европейских предрассудков». То есть обоим мыслителям понадобился контрастный фон, на котором станут видны черты культурного кризиса. О последнем речь пойдет позже.

Также Аверинцев выделяет наследие Просвещения в качестве общей для Пушкина и Гёте предпосылки мышления. Просвещение, в первую очередь в лице Вольтера, представало перед поэтами как *импульс* и как *вызов*. Об импульсивном воздействии французского просветителя свидетельствуют воспоминания Гёте и Пушкина. Гётевская похвала в адрес Вольтера всегда была подчеркнута литературной и эстетической: «...хорошо все, созданное таким могучим талантом...»; «...они [маленькие стихотворения], несомненно, принадлежат к прелестнейшему из всего им написанного» [Эккерман, 1981, с. 278]. Немецкий классик либо выносил все мировоззренческие проблемы за скобки, либо оговаривал их отдельно от хвалебных слов. Далее Аверинцев приводит аналогичный отзыв Пушкина о Вольтере: «В одном из этих писем встретили мы неизвестные стихи Вольтера. На них легкая печать его неподражаемого таланта» [Пушкин, 1959–1962, т. 6, с. 147]. Помимо импульса, Вольтер стал для обоих идейным *вызовом*. Вот что Гёте рассказывал Эккерману о значении, «какое имел Вольтер и его великие современники в годы моей юности и в какой мере властвовали они над всем нравственным миром. В своей автобиографии я недостаточно ясно сказал о влиянии, которое эти мужи оказывали на меня в молодости, и о том, чего мне стоило от него оборониться, встать на собственные ноги и обрести правильное отношение к природе» [Эккерман, 1981, с. 342–343]. А Пушкин рисует карикатурный образ французского просветителя:

Еще в ребячестве, бессмысленный и злой,
Я встретил старика с плешивой головой,
С очами быстрыми, зеркалом мысли зыбкой,
С устами, сжатыми наморщенной улыбкой.

[Пушкин, 1959–1962, т. 2, с. 654]

И антагонизм Просвещения в лице Вольтера состоит, таким образом, в том, что «дух систематического рассудочного отрицания (...) для Гёте, как для зрелого Пушкина, принципиально неприемлем» [Аверинцев, 1999, с. 192].

Другим удивительным сближением двух гениев стало переживание и проживание мгновения: вспомним знаменитое «Остановись, мгновенье!» Гёте и «Я помню чудное мгновенье» Пушкина. Сравнительный анализ осмысления поэтами мгновения провел В. Б. Микушевич. Кратко передадим его смысл. Одним из главных отличий гётевского Фауста от Фауста Народной Книги является готовность отказаться от вечности ради мгновения. Важно, что Фауст вступает в договор с Мефистофелем не ради конца времен, ведь, как верно подмеча-

ет Микушевич, такой конец все равно наступит. «Фауст рискует своей душой ради мгновения, которому стоит сказать: “Продлись”, поскольку оно не просто прекрасно, а так прекрасно (прекрасно, как никогда?)» [Микушевич, 2011]. Лирический герой Пушкина, конечно, не проживает чудное мгновение в настоящий момент, а только вспоминает, и, что существенно, добился он его без помощи дьявола. Но общая картина после того самого мгновения напоминает гётевскую: «Без божества, без вдохновенья, / Без слез, без жизни, без любви» [Пушкин, 1959–1962, т. 2, с. 89]. Зацикленность на мгновении стала проявлением так называемого *синдрома Фауста, а вместе с ним и кризиса культуры — попытки придать частному статус вечного*. Микушевич обращает внимание на то, что немецкое «verweilen» означает не просто «останавливаться», а «задерживаться», «медлить», «длиться». Более того, по мнению исследователя, «культ мгновения во времена Гёте был еще нов и непривычен для европейского сознания. Само слово “der Augenblick” (“глазовзгляд”) воспринимается еще в немецком языке как неологизм (...). Есть много оснований предположить, что “мгновение” было незнакомо предшествующим эпохам или, во всяком случае, не переживалось ими с такой остротой» [Микушевич, 2011]. Новизна столь глубокого проживания мгновения говорит о том, что Гёте и Пушкин явно почувствовали доселе невиданное веяние в культуре. К чему приведет отчаянная попытка ухватиться за вечное и прекрасное любой ценой — увидим позже. Здесь же обратим внимание на существенную разницу между Гёте и Пушкиным: у Гёте в эпилоге Фауста спасает мистическая Женственность. У Пушкина же совсем иная картина. Микушевич с многочисленными оговорками склоняется к тому, что чудное мгновение остается для него лишь мгновением перед концом мира. Однако, вопреки мнению исследователя, лирический герой Пушкина (или сам поэт) все-таки спасается, об этом финальные строки:

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

[Пушкин, 1959–1962, т. 2, с. 89]

Но спасает героя отнюдь не «гений чистой красоты», как раз наоборот: сначала «душе настало пробужденье» и только после этого следуют строки «И вот опять явилась ты». Отчего пробуждается душа поэта и вследствие этого воскресают Бог и вдохновение? Это остается загадкой как для читателя, так и для самого лирического героя. В дальнейшем к неизвестности, таинственности,

спонтанности спасения от синдрома Фауста примешается глубокое сомнение, которое можно ошибочно принять за мерцающий скептицизм Пушкина. Последствия этих сложных и едва различимых чувств и мыслей обнаружатся в произведениях, написанных в Болдинскую осень 1830 года.

Теперь перейдем непосредственно к пушкинскому Фаусту. В автокомментарии к стихотворению «Демон» (1823) он точно выделяет сердцевину синдрома Фауста:

В лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противоречия сущности рождают в нем сомнения, чувство мучительное, но непродолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические предрассудки души. Недаром великий Гете называет вечного врага человечества *духом отрицающим*. И Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух *отрицания или сомнения*, и в сжатой картине начертал отличительные признаки и печальное влияние оною на нравственность нашего века.

[Пушкин, 1959–1962, т. 6, с. 262]

Действительно, Гёте изображает дух отрицания, негации, ничтожествования. Пушкин чуть ли не с первых творческих шагов пытается понять силу Ничто, прорвавшегося в культуру. А. Л. Доброхотов очень точно сформулировал: Гёте вбросил в европейское сознание проблему — что изменилось после Французской революции? Кто пришел в Европу? Появилось ощущение, что пришли новые силы, которые кристаллизуются в новых типах личности. Главным таким типом стал Фауст, который для Пушкина безусловно плохой, источник демонического зла [Доброхотов, 2019, 07:39–11:44].

В 1825 году Пушкин создает свой вариант «Сцены из Фауста». Как пишет Гл. Глебов, «фаустовская тема была близка Пушкину потому, что в Фаусте конфликт “вечных противоречий сущности” достиг наивысшего напряжения. В Фаусте — разлад средневековой души, крушение теократической системы, титанический порыв к преодолению противоречий бытия. Фауст — это переход от теократии к антропократии, от средневековья к новому времени. (...) Фауст, как титан, бросает вызов небу и земле и пролагает новые пути» [Глебов, 1933, с. 41]. Мы не ошибемся, если скажем, что Фауст для Пушкина был символом судьбы европейского человека. В статье В. Х. Гильманова и И. Д. Копцева дана четкая расшифровка этой судьбы. Позволю себе опереться на нее. Пушкин обнаружил в архетипе Фауста «код апокалипсиса»: финал «Сцены» на берегу моря, где герой просит Мефистофеля *все утопить*, именно об этом.

Экзистенциальный диагноз дан «коду апокалипсиса» уже в самом начале: «Мне скучно, бес». Скука отражает «чувство смысловой опустошенности, вакуума бытия. Это состояние, нередко сопряженное с меланхолией, было одной из психоинтеллектуальных доминант в аристократической среде XVIII века, что объясняется динамикой утилитаристского “разволшебствления” бытия, его деонтологизации по причине нарастающего безверья (...). Пушкинский рационалистический Фауст есть антропологический диагноз этой динамики...» [Гильманов, Копцев, 2015, с. 68]. Результатом постепенной «деонтологизации бытия» и «нарастающего безверья» является культура, из которой исчезла метафизика.

А что вообще такое культура? Современный отечественный философ культуры В. Н. Порус дает такое определение: «Культура — это горизонт *универсальных ценностей*, выступающих ориентирами личного и общественного поведения, отношения к миру, к людям и к самому себе (...). Это *границы, которые нельзя переступить, не оказавшись в тяжком конфликте с самим собой*» [Порус, 2008, с. 411]. Или «культура — система ограничений, ставших внутренними принципами человеческого поведения, творчества, любой значимой деятельности. Культурный человек — тот, кто всерьез, а не для красного словца скажет: “Я *этого* не сделаю — никогда, ни при каких обстоятельствах. Потому что, сделав *это*, я уже не буду человеком!”» [Порус, 2008, с. 415]. Пушкин, оттолкнувшись от идей Гёте, изображает картину декоординированного мира, в котором отказываются от «больших нарративов» и универсальных ценностей, а значит, от *культуры как таковой*. Человек в таком мире дезориентирован, он скучает по большим идеям, но уже не верит в них и готов на все, чтобы преодолеть эту экзистенциальную скуку. Человеком овладевает Ничто, о котором говорил А. Л. Доброхотов, и внутренняя пустота, вызванная отказом от культуры, открывает портал инфернальным силам. Гильманов и Копцев пишут об этом же: «...мука безверия доводит до демонизации» [Гильманов, Копцев, 2015, с. 68]. Читаем о «Демоне» у Пушкина:

Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

[Пушкин, 1959–1962, т. 2, с. 13]

Как показал Глебов, «мотив скуки как результат утраты смысла существования встречается у Пушкина неоднократно. Так, в “Элегии” 1816 года читаем: “Мне скучен мир”. В сцене из “Бориса Годунова” (...) Григорий говорит злому чернецу (тоже своего рода бес) о бессмыслице монастырской жизни (...). В письме к Рылееву, написанном в том же году, Пушкин говорит, что “скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа”». [Глебов, 1933, с. 44]. Затем исследователь пишет о том, что мир пушкинского Фауста после всевозможных взлетов и падений наполнен одним — скукой («Вся тварь разумная скучает»; «гроб, зевая, ждет» человека [Пушкин, 1959–1962, т. 2, с. 108]). Скука у Пушкина, во всем искавшего смысл, есть «одна из наиболее безнадежных форм неприятия, отрицания мира» [Глебов, 1933, с. 44]. Одна из наиболее безнадежных форм!

Когда Пушкин называет скуку «принадлежностью мыслящего существа», результатом утраты смысла и говорит, что она оказывает печальное влияние на нравственность его века, он с невероятной точностью улавливает *нерв эпохи*. Динамика Нового времени такова, что из сознания людей постепенно «вымывается» потусторонний, трансцендентный мир. Бог Декарта, к примеру, творит мир и дает ему первый толчок, после которого посюсторонняя реальность обретает самостоятельность, автономность. Французские и английские просветители и материалисты XVIII века часто обходились в своих философских построениях без метафизики, Абсолюта и Бога. Морфологически XIX век столкнулся с ситуацией, в которой познание мира стало возможным без вмешательства чего-то принципиально Иного, придававшего раньше миру и жизни смысл. И даже проведенная Кантом трансцендентальная идеализация структур сознания и универсалий культуры оставила лишь *формальный* след потустороннего в мире феноменов; *содержательного* влияния трансцендентального измерения на эмпирическую реальность не оказывает, доступ к истинному знанию (вещам самим по себе) объявляется невозможным [Рябушкина, 2020, с. 382–388].

Пушкин ощутил образование пропасти между Я и миром, между умозрением и миродействием. Как замечательно выразился Глебов, «Фауст начинает свой бег через жизнь с неудержимого стремления к знанию» [Глебов, 1933, с. 44], он желает осуществить прорыв к трансцендентному. Постепенный отказ от метафизики усилил осознание оторванности Я от «большого мира». «Пассивное умозрение и статистическое ознакомление не могут вывести человека за пределы личности, не в силах разорвать порочный круг замкнутого в себе индивидуального бытия» [Глебов, 1933, с. 44]. Но если гётевский герой словами «...знание не дано нам!.. / Не вижу больше истин непреложных» [Гете, 1928, с. 82] говорит о *недоступности* человеку знания (ведь из его слов следует, что

достоверное знание есть, но нет достойного для него носителя), то у Пушкина картина куда более мрачная: «В глубоком знанье жизни нет — / Я проклял знаний ложный свет» [Пушкин, 1959–1962, т. 2, с. 109]. Из этой короткой реплики следует, что знание само по себе мертво, потусторонний мир — безжизненный, свет Разума, направлявший мыслителей предыдущей эпохи, объявляется ложным. Пушкин фиксирует гибель в душе Фауста главных универсальных ценностей культуры — Разума, Истины и Веры. История покажет, насколько пророчество Пушкина оказалось точным. Вспомним страшный приговор, вынесенный Теодором Адорно: «После Освенцима любая культура вместе с любой ее уничижительной критикой — всего лишь мусор» [Адорно, 2003, с. 327]. Да, именно Разум был обвинен в том, что он породил спрятавшееся под сухим рационализмом варварство XX столетия. Заметим, что Гёте оставляет Фаусту шанс на спасение, у него божественный мир еще может вмешаться в земные дела. А что у Пушкина? Гильманов и Копцев считают, что пушкинский Фауст уже в аду. Они обращают внимание на жуткую деталь в динамике пушкинского Фауста, разрушающую главное условие жизни — любовь. «Разоблачая упование Фауста на любовь как “лекарство от скуки”, Мефистофель сравнивает его страсть к Гретхен с убийством (...). Пушкинский Фауст уже в аду, так как не способен возлюбить. Ведь ад есть состояние души, бессильной возлюбить жизнь и человека» [Гильманов, Копцев, 2015, с. 68–69]. Однако текст Пушкина не дает оснований делать столь сильные выводы. Главным аргументом исследователей являются реплики Мефистофеля, но опираться в своем анализе на слова дьявола весьма опрометчиво. На самом же деле это Мефистофель, дух сомнения и отрицания, не верит в любовь и пытается убедить в ее фальшивости Фауста. И по тексту совершенно неясно, поверил Фауст дьяволу или нет. Поэтому Гильманов и Копцев поторопились отправлять героя в ад. Быть может, сердце Фауста еще сможет «биться в упоенье»... Точно никто этого не скажет, даже сам герой. Здесь мы снова сталкиваемся с неизвестностью, таинственностью и даже растерянностью в идейном мире Пушкина. Мы просто не знаем, когда и почему в душе воскресают «и жизнь, и слезы, и любовь».

Но есть стихотворение, по смыслу уникальное в пушкинской гётеане, открывающее просторы для предположений о том, как победить Мефистофеля. В «Ангеле» 1827 года все тот же «дух отрицанья, дух сомненья» впервые невольно ощутил «жар умиленья», пока взирал на сияние ангела. И вот какие слова после этого произносит демон:

Прости, — он рек, — тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:

Не всё я в небе ненавидел,

Не всё я в мире презирал

[Пушкин, 1959–1962, т. 2, с. 174]

Эта реплика говорит нам, во-первых, о возможности обращения зла в добро и, во-вторых, о том, что не всё в нашем преимущественно мещанском, жестоким, несправедливом мире заслуживает презрения. Есть, считает Пушкин, нечто действительно доброе и чистое, чего не в силах отрицать никакое зло и перед чем даже демон готов просить прощения.

2

Теперь сконцентрируемся на произведениях, написанных Пушкиным в Болдино осенью 1830 года. Он пребывал тогда в особенном интеллектуальном напряжении, и все мучившие поэта вопросы и проблемы откликались в его душе с пронзительной звонкостью и отчетливостью. На то было две причины. Во-первых, Пушкин находился в продолжительном уединении из-за карантина в Москве и окрестностях. Сознание поэта, оторванное от городской и светской суеты, стало удивительно чутким к глубоким душевным тревогам. Во-вторых, Пушкина волновала грядущая свадьба с Натальей Гончаровой. Он опасался утраты своей беспечной независимости, потери уединения и бесцельных странствий, которыми так дорожил. Что еще страшнее, в письмах мелькала мысль, что женитьба заглушит его творческий потенциал [Пушкин, 1959–1962, т. 9, с. 350–353]. Вполне возможно, что той осенью Пушкин хотел сказать все, что у него накопилось в душе. Ведь ему казалось, что музы могут покинуть его навсегда.

Прямых отсылок к Фаусту и Гёте в текстах болдинского периода почти нет. Но это не значит, что Пушкина не занимали тогда вопросы, перенятые от немецкого классика. Как я пытался показать в первой части статьи, Пушкин буквально жил с мыслями о Духе Отрицания, ввергающем Все в тотальное бессмысленное Ничто. Постараемся разглядеть Невидимого Фауста в произведениях, написанных осенью 1830 года, и попробуем «вычлени» диагноз, который поставил Пушкин европейской культуре.

Первое, что написал Пушкин той осенью, было стихотворение «Бесы». Само название отсылает нас к демонической силе, прорвавшейся в культуру и уничтожающей ее. Примечательно, что Ф. М. Достоевский не просто назвал свой роман «Бесами», но и использовал стихотворение Пушкина в качестве эпиграфа к нему. Бесовщина Достоевского — это именно культурная катастрофа, поджидающая Европу, частью которой несомненно является и Россия.

Д. Д. Благой совершенно точно передал идейный субстрат стихотворения: «Все сущее предстает как некий вихрь мировой бессмыслицы» [Благой, 1967, с. 479]. Мир, оставшийся без культурных универсалий, становится «бесмысленным и беспощадным». Вполне возможно, что мрак космического размаха пушкинских «Бесов» стал подходящим пространством для страшного приговора Карамазова «Все дозволено!».

На следующий день, восьмого сентября, Пушкин написал стихотворение «Элегия». Здесь мне тоже видится полемика (быть может, ненамеренная) с Гёте, но в связи с другим его героем — Вертером. Лирический герой Пушкина, как и юный Вертер, страдает от тяжелого и печального груза прошлого, а в настоящем и будущем он не видит ничего, кроме труда и горя:

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемого море.

[Пушкин, 1959–1962, т. 3, с. 299]

В почти аналогичной ситуации надломленный Вертер не находит жизненной опоры и стреляет себе в голову. Но Пушкин не намерен умирать. Почему? Он хочет жить, «чтоб мыслить и страдать» [Пушкин, 1959–1962, т. 3, с. 299]. И далее в стихотворении он рисует такую картину, где сохраняется доминирование темноты, скуки, отчаяния. Но сквозь темное полотно мрака иногда пробиваются лучи света, ради которых и стоит жить:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь...

[Пушкин, 1959–1962, т. 3, с. 299]

И он сохраняет надежду: вдруг на его печальный закат «блеснет любовь улыбкою прощальной» [Пушкин, 1959–1962, т. 3, с. 299]. Пушкин верит и надеется. Поэт оставляет своему герою (или себе) шанс, пусть и призрачный, маловероятный и даже наивный, но шанс на спасение. При этом спасительным оказывается не смутный душевный порыв или мистика Вечной Женственности, а обнаружение борьбы двух сил — *мысли и страдания*. Помним, что пришедшее фаустовское всеотрицание ввергает в пустоту все светлые порывы юных лет («Безумных лет угасшее веселье / Мне тяжело, как смутное похмелье» [Пушкин, 1959–1962, т. 3, с. 299]) и разрушает культурные ценности, служившие ранее ориентирами для индивидуального бытия. Страдание — это то, что дух Ничто оставляет человеку. Пушкин решает противопоставить страданию мысль.

Именно усилие ума может породить новые культурные координаты, способные *сохранить человека в человеке*.

Девятого сентября Пушкин ненадолго отвлекается от трагических сюжетов «Бесов» и «Элегии» и пишет повесть «Гробовщик». Писателя занимала мысль Шатобриана, гласящая, что счастье следует искать в единообразии житейских привычек. В «Гробовщике» Пушкин испытывает на прочность это суждение и рисует спокойный, заземленный, далекий от размышлений о культуре мещанский мир. Однако эпиграф «Не зрим ли каждый день гробов, / Седин дряхлеющей вселенной?» [Пушкин, 1959–1962, т. 5, с. 77] буквально говорит о том, что данная повесть и есть мир погибающей («дряхлеющей») культуры, мир побеждающего Ничто. В этом земном небытии нет ни любви («Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке» [Пушкин, 1959–1962, т. 5, с. 77–78]), ни подлинной смерти (она только приснилась герою Адриану). Таким видел Пушкин вероятное будущее европейской культуры: жизнь человека в ней — не имеющая ценности частичка громадного бессмысленного вихря. А житейская повседневность («Жизни мышья беготня»), воспетая Шатобрианом, оказывается лишенной «духовного бытия, любви, страсти (...)». Вряд ли такое счастье на таких «путях обыкновенных» могло быть хоть минимальным разрешением глубоких конфликтов бытия...» [Альтшуллер, 2021, с. 113].

Спустя одиннадцать дней после «Гробовщика» была написана повесть «Барышня-крестьянка». В ней коллизия молодости и старости, конфликт отца и сына Берестовых разрешается счастливой развязкой. Марк Альтшуллер верно замечает, что данное произведение «является единственной в цикле повестью, где нет никакого щемяще-грустного подтекста (...)». Торжествует молодость, любовь, счастье» [Альтшуллер, 2021, с. 102]. Но, вопреки мысли исследователя, тот факт, что Пушкин именно ею заключил цикл повестей Белкина, не говорит о том, что писатель таким образом смягчил «вечные противоречия сущности», мучившие его тогда. Едва ли самого Пушкина мог устроить вариант «Барышни-крестьянки». В написанном спустя шесть дней стихотворении «Труд» поэт признается, что непонятная грусть продолжает тревожить его [Пушкин, 1959–1962, т. 2, с. 302]. Еще через пять дней он завершает стихотворение «Царскосельская статуя» словами «Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит» [Пушкин, 1959–1962, т. 2, с. 303]. Затем пятого октября в стихотворении «Прощание» Пушкин вплотную сближает любовь (а вместе с ней и самого себя) со смертью (не с физической, не смертью тела, а с внутренним угасанием): здесь у него все происходит в последний раз — последний образ, последняя мечта, последнее воспоминание [Пушкин,

1959–1962, т. 2, с. 307]; он прощается со своей любовью перед... Перед чем? Похоже, что Пушкин предчувствует поражение, которое может нанести Дух Отрицания.

Через девять дней Пушкин завершает работу над повестью «Выстрел». Снова кажется, что конфликт в финале разрешается: граф остался жив, жена не потеряла любимого. Не буду останавливаться на этической стороне поступка испуганного графа (не стоит забывать, что ради собственного спасения он поступился честью; неспроста Сильвио, уходя, произнес уничтожающую фразу: «Предаю тебя твоей совести» [Пушкин, 1959–1962, т. 5, с. 62]). В сюжете повести мне интересней другое. Снова обращусь к выводу Марка Альтшуллера:

Однако и победа Сильвио оказывается “пирровой”. (...) Сильвио истратил свою жизнь, лелея мечту о мести. Ничтожная цель оказалась достигнутой. Сильвио не убил, но одержал моральную победу над врагом. И... жизнь прожита, позади жалкое первенство (недолгое) в гусарском буйстве и годы, проведенные в пальбе по мухам для тренировки. Впереди только смерть.

[Альтшуллер, 2021, с. 94]

И что за смерть ожидала Сильвио? Пушкин пишет: «Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами» [Пушкин, 1959–1962, т. 5, с. 62]. Исторически в битве под Скулянами этеристы не имели ни малейшей надежды на победу, и опытный военный Сильвио не мог об этом не знать. «Он приносил в жертву благородному и безнадежному делу жизнь, которая была ему не нужна, фактически совершил самоубийство» [Альтшуллер, 2021, с. 95]. В. Э. Вацуро подводит точнейший итог жизни героя: «Сделав идею мести своей маниакальной “*idée fixe*”, он полностью исчерпал себя в ней; его смерть в сражении есть символический акт самоубийства» [Вацуро, 1994, с. 277]. Сильвио — не кто иной, как жертва синдрома Фауста, попытки самоутверждения, поиска смысла в самом себе без выхода к иному, к чему-то большему, чем ты сам. Опасность такой жизни отлично понимал Кант. Поэтому он считал, что индивидуальное бытие не должно быть замкнуто на самом себе, но «подчинено особым, а именно данным собственным разумом, чистым практическим законам» [Кант, 1965, с. 414].

Спустя три дня Пушкин пишет стихотворение «Заклинание», в котором он зовет тень с того света. Поэт был буквально одержим ее появлением. Пусть она придет хоть как вечерняя звезда, легкий звук или ужасное виденье. Но для чего?

...Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь... но, тоскуя,
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой: сюда, сюда!

[Пушкин, 1959–1962, т. 2, с. 315]

Представляется, что после повести «Выстрел» Пушкин точно убеждается: без прорыва к миру живому, полному любви, он покоя не найдет. Но как преодолеть дисгармонию Нового времени?

Двадцать пятого октября были написаны «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». В них Пушкина не отпускает фаустианское стремление к знанию, экзистенциальная необходимость в преодолении пропасти между Я и живым миром. Он мучается. Помним, что в «Элегии» поэт противопоставил мучительному страданию мысль. И здесь он пишет:

Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна, или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...

[Пушкин, 1959–1962, т. 2, с. 318]

Пушкин снова фиксирует необходимость неустанного поиска смысла, борьбы с всепоглощающим Ничто.

В трагедии «Каменный гость», написанной четвертого ноября, показано, во что вырождается и как извращается любовь в мире без культуры. Как отмечают Гильманов и Копцев, еще в «Сцене из Фауста» тема охлаждения любви прослеживается в примечательной близости к архетипу Дон Гуана — заложника и жертвы эротики. «Его Эрос, замкнутый в самом себе и не способный к восхождению в агепе, гаснет по мере достижения телесного обладания. Любовь теряет свою созидательную суть, выходя из поля небесной гравитации, и обрекает человека на “бытие к смерти”. Вот почему пушкинский Фауст становится причиной гибели Гретхен и убийцей бытия» [Гильманов, Копцев, 2015, с. 69]. Любовь по Пушкину «ино-природна», она не отсюда, неземная. И когда то самое неземное, высшее, потустороннее в сознании людей погибает, на

место любви приходит пошлая и беспорядочная эротика. Белинский, кстати, прямо назвал Дон Гуана испанским Фаустом [Белинский, 1948, с. 630]. И это неслучайно. Дон Гуан, подобно Фаусту, переживает в финале момент настоящей влюбленности (мгновение), но тут приходит каменный гость и забирает его в ад. И никто и ничто не спасает пушкинского героя.

Восьмого ноября Пушкин завершает работу над трагедией «Пир во время чумы». Вальсингам, конечно, заражен синдромом Фауста, он есть воплощение отрицания и чистой негативности. Что происходит в трагедии? Всех забирает чума, предчувствие смерти находится в наивысшей точке. И Вальсингам, как Фауст, бросает вызов небу и земле. Он говорит, что когда к нам приходит зима с армией снегов и морозов, мы обычно встречаем ее теплыми каминами. То же, по его мнению, нужно предпринять и в случае смерти.

Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы!
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.

[Пушкин, 1959–1962, т. 4, с. 378]

Затем следуют двенадцать знаменитых строк, которые Цветаева назвала самыми лучшими из всей мировой поэзии:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

*

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

[Пушкин, 1959–1962, т. 4, с. 378]

Вальсингам пытается обернуть трагедию в радость, из пустоты смертельного небытия создать полноту беззаботной, бескультурной жизни, найти *что-то* в Ничто. Удастся ли ему это? После гимна приходит священник и требует прекратить пиршество. И вот что отвечает Вальсингам: «Домá у нас печальны — юность любит радость» [Пушкин, 1959–1962, т. 4, с. 379]. То есть он отказывается примиряться с тем самым Ничто и решает бороться с ним. Но как? Ранее мы видели, что Пушкин склонялся к тому, чтобы *усилием ума* создать «каркас», на который может опереться человек. Здесь же Вальсингам предпринимает нечто противоположное: он тоже борется, но *борется, не создавая, не созидая, а упиваясь разрушением культуры, гибелью живого*. Путь Вальсингама — это даже не сделка с дьяволом (как было у Фауста), а ненамеренная и не осознаваемая им капитуляция перед inferнальными силами и дальнейшее пособничество. Ведь своими аморальными действиями он ускоряет разрушительные процессы и по итогу остается без ожидаемых наслаждений и счастья, о которых так громко кричал.

За полтора месяца до «Пира...» Пушкин уже создавал в Болдино близкий по смыслу сюжет в стихотворении «Герой»:

...Небесами

Клянусь: кто жизнь свою
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь, тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой...

Д р у г.

Мечты поэта —
Историк строгий гонит вас!
Увы! его раздался глас, —
И где ж очарованье света!

П о э т.

Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно! — Нет!
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...

Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...

Д р у г.
Утешься

[Пушкин, 1959–1962, т. 2, с. 320–321]

Поэт практически дословно повторяет реплику Фауста «Да будет проклят правды свет» и считает, что вальсингамовский путь единственно верный, так как именно он оставляет человеку сердце. Однако за полтора месяца размышлений Пушкин приходит к тому, что игры «пред сумрачным недугом» не оставляют *обывателю* ничего, даже сердца. «Возвышающий обман», воспетый в стихах «Героя» и в «Пире...», служит утешением для поэта и только для поэта (об этом финальная реплика Друга). Для остальных людей, не-поэтов, гимн чуме – лишь сотрясение и без того трещащей по швам культуры. Так, Вальсингам признается, что охвачен ужасом пустоты, которую встречает в доме. А пустота — это следствие пришедшего духа ничтожествования, который Пушкин разглядел в гётевском Фаусте. В финале он с грустью заключает, что *его падший дух уже не достигнет до света*. Он остается погруженным в глубокую задумчивость [Пушкин, 1959–1962, т. 4, с. 381]. Цветаева заметила, что «Пушкин, как Гёте в Вертере, спасся от чумы (Гёте — любви), убив своего героя той смертью, которой сам вождделел умереть. Гёте, по какому-то закону данного часа его жизни, нужно было застрелить Вертера, самоубийственному демону поколения нужно было воплотиться рукой именно Гёте» [Цветаева, 1994, с. 349]. И когда Пушкин оставляет Вальсингама в вечной задумчивости, то есть обрекает на вечные мучения, он сам, конечно, не спасается от кода апокалипсиса, как Гёте спасся от болезни Вертера. Но он окончательно поставил диагноз и, кажется, наметил лечение. *Разрушению культуры необходимо противопоставить созидание*. Другого пути нет. Какого рода должно быть это созидание? Что именно нужно создавать? Ответы на эти вопросы Пушкин попытается дать позднее, в последние годы своей жизни.

Наконец, в заключительные дни пребывания в Болдино Пушкин завершает работу над «Евгением Онегиным». Онегин изображается как Ничто (корень «него» в фамилии неслучаен). Он становится проводником разрушительной силы (убивает друга, убивает любовь, не может найти себя), своей пустотой он открывает канал инфернальным массам [Доброхотов, 2019, 14:43–14:57]. Сон Татьяны подтверждает эту гипотезу: пир бесов, в центре которого находится пустая и главная сила — Евгений. Глебов совершенно верно пишет, что скука —

«одна из основных черт бессмысленного существования Евгения Онегина (...). Некоторые критики называли Онегина “русским Фаустом”. Но в Онегине элементы фаустовской трагедии и титанической борьбы полностью отсутствуют. Онегин — вполне “современный человек”, “себялюбивый и сухой”, с “озлобленным умом, кипящим в действии пустом» [Глебов, 1933, с. 44, примеч. 3]. Таким образом, в конце первой Болдинской осени Пушкин закончил работу над *окончательным вариантом* героя одноуровневой онтологии, мира без культуры. Он уже не стремится преодолеть тяжелые жизненные противоречия. Он живет с ними в унисон.

* * *

История показала, что Пушкин не был алармистом. Культурная катастрофа все же случилась. Русская революция, Гражданская война и две мировые войны — ее ужасные последствия. В дальнейшем европейские интеллектуалы не выбрали путь на построение новой культуры. Как раз наоборот: ценностный универсализм назвали неэффективным в разрешении серьезных конфликтов. Лиотар, Вельш и другие призвали отказаться от «больших нарративов» [Лиотар, 1998, с. 160], Рорти не видит в универсальных принципах никакого толку и называет прагматичный релятивизм даже более рациональным, чем какой-нибудь универсально-звучащий принцип [Рорти, 1997, с. 39–40]. И их рассуждения не безосновательны, ведь постепенно Культура выродилась в тотальное и бездумное подчинение индивида коллективным правилам. Но путь, ориентированный на ценностный релятивизм и прагматизм, оказался не менее болезненным, так как представляет собой обживание мира, в котором побеждает изображенный Пушкиным Дух Отрицания. Принятие такого мира привело к новому витку кризиса культуры. Его главным ликом стала война между Россией и Украиной, сделавшая гибель людей в массовом сознании чем-то обыденным и даже оправданным. В «Капитанской дочке», последнем изданном при жизни произведении, в своем напутствии потомкам, Пушкин выделил две общечеловеческие ценности, способные уберечь нас от мрака, — *честь и милосердие*. Хотя катастрофа уже случилась и последствия ее невообразимы, нужно продолжать жить. Пушкин завещал быть честными и милосердными. Все так.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

[Пушкин, 1959–1962, т. 2, с. 460]

Список источников

- Аверинцев С. С.* Гёте и Пушкин // Новый мир. 1999. № 6. С. 189–198.
- Адорно Т. В.* Негативная диалектика. М.: Научный мир, 2003. 374 с.
- Альтишуллер М. Г.* Трагедия бытия и поиски спасения. «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина» // Русская литература. 2021. № 1. С. 86–117.
- Белинский В. Г.* Сочинения Александра Пушкина // *Белинский В. Г.* Сочинения: в 3 т. / под общ. ред. Ф. М. Головенченко. М.: ОГИЗ; Гослитиздат, 1948. Т. III: Статьи и рецензии (1843–1848). С. 172–640.
- Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1826–1830). М.: Советский писатель, 1967. 724 с.
- Вацуро В. Э.* Записки комментатора. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проспект», 1994. 347 с.
- Гете И. В.* Фауст / пер. Валерия Брюсова. М.; Л.: Государственное издательство, 1928. 350 с.
- Гильманов В. Х., Копцев И. Д.* «Зона Фауста» в творчестве Гёте и Пушкина // Вестн. Балтийского федерального ун-та им. И. Канта. Сер.: Филология, педагогика, психология. 2015. № 8. С. 65–71.
- Глебов Гл.* Пушкин и Гёте // Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века / под ред. Влад. Бонч-Бруевича, Л. Б. Каменева и А. В. Луначарского. М.-Л.: ACADEMIA, 1933. Т. II. С. 41–66.
- Данилевский Р. Ю.* Гёте // Пушкин: Исследования и материалы. СПб.: Наука, 2004. Т. XVIII/XIX: Пушкин и мировая литература. Материалы к «Пушкинской энциклопедии». С. 99–105.
- Доброхотов А. Л.* Невидимый Фауст: о некоторых гётеанских мотивах у Пушкина [Доклад] // «Литературный институт». 2019. 11 декабря. URL: https://youtu.be/Az4MqW6x_4g (дата обращения: 26.04.2023).
- Кант И.* Критика практического разума // *Кант И.* Сочинения: в 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4, ч. 1. С. 311–504.
- Лебедева О. Б.* Жанрово-родовые функции фаустианских реминисценций в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» // Проблемы литературных жанров: Материалы X Международной научной конференции, посвященной 400-летию г. Томска. 15–17 октября 2001 г. Томск: Изд-во ТГУ, 2002. Ч. 1. С. 129–133.
- Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна / пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. 160 с.
- Микушевич В. Б.* Чудное мгновенье. Гёте, Руссо, Пушкин // Портал «Стихи.ру». 2011. URL: <https://stihi.ru/2011/12/16/188> (дата обращения: 25.04.2023).

Порус В. Н. Обжить катастрофу. Современные размышления о духовной культуре России // Порус В. Н. У края культуры. Философские очерки. М.: Канон+, 2008. С. 408–433.

Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. / под общ. ред. Д. Д. Благого и др. М.: Гослитиздат, 1959–1962. 10 т.

Рябушкина Т. М. Структуроопределяющие основания сознания. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2020. 648 с.

Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст / отв. ред. А. Рубцов. М.: Фонд «Традиция», 1997. С. 11–44.

Фридендер Г. М. Пушкин. Достоевский. Серебряный век. СПб.: Наука, 1995. 525 с.

Цветаева М. Поэт и время // Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1994. Т. 5: Автобиографическая проза. Статьи. Эссе. Переводы. С. 329–345.

Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / пер. с нем. Н. Ман. М.: Худож. лит., 1981. 672 с.

References

Averintsev, S. S. (1999) “Gete i Pushkin” [“Goethe and Pushkin”], *Novyi Mir* [New World], 6, pp. 189–198.

Adorno, T. V. (2003) *Negativnaya dialektika* [Negative dialectics]. Moscow: Nauchnyi mir.

Al'tshuller, M. G. (2021) “Tragediya bytiya i poiski spaseniya. «Malen'kie tragedii» i «Povesti Belkina»” [“The tragedy of being and the search for salvation. ‘Little tragedies’ and ‘Belkin’s Stories’”], *Russkaya Literatura* [Russian Literature], 1, pp. 86–117.

Belinskii, V. G. (1948) “Sochineniya Aleksandra Pushkina” [“The Works of Alexander Pushkin”], in Belinskii, V. G. *Sochineniya: v 3 tomakh. Tom III: Stat'i i retsenzii (1843–1848)* [The works: in 3 vols. Vol. 3: Articles and reviews (1843–1848)]. Ed. by F. M. Golovenchenko. Moscow: OGIZ; Goslitizdat, pp. 172–640.

Blagoi, D. D. (1967) *Tvorcheskii put' Pushkina (1826–1830)* [Pushkin's creative path (1826–1830)]. Moscow: Sovetskii pisatel'.

Vatsuro, V. E. (1994) *Zapiski kommentatora* [Commentator's notes]. St. Petersburg: Gumanitarnoe agentstvo «Akademicheskii prospekt» [Humanitarian Agency “Academic prospect”].

Goethe, J. W. (1928) *Faust*. Transl. by Valerii Bryusov. Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel'stvo.

Gil'manov, V. Kh. and Koptsev, I. D. (2015) “«Zona Fausta» v tvorchestve Gete i Pushkina” [“‘Faust zone’ in the works of Goethe and Pushkin”], *Vestnik Baltiiskogo*

Federal'nogo Universiteta im. I. Kanta. Seriya: Filologiya, Pedagogika, Psikhologiya [Bulletin of the Baltic Federal University named after I. Kant. Series: Philology, Pedagogy, Psychology], 8, pp. 65–71.

Glebov, G. I. (1933) “Pushkin i Gete” [“Pushkin and Goethe”], in *Zven'ya: Sborniki materialov i dokumentov po istorii literatury, iskusstva i obshchestvennoi mysli XIX veka. Tom II* [Links: Collections of materials and documents on the history of literature, art and social thought of the 19th century. Vol. 2]. Ed. by Vlad. Bonch-Bruевич, L. B. Kamenev and A. V. Lunacharskii. Moscow-Leningrad: ACADEMIA, pp. 41–66.

Danilevskii, R. Yu. (2004) “Gete” [“Goethe”], in *Pushkin: Issledovaniya i materialy. Tom XVIII/XIX: Pushkin i mirovaya literatura. Materialy k «Pushkinskoi entsiklopedii»* [Pushkin: Studies and materials. Vol. 18/19: Pushkin and world literature. Materials for the “Pushkin encyclopedia”]. St. Petersburg: Nauka, pp. 99–105.

Dobrokhotov, A. L. (2019) *Nevidimyi Faust: o nekotorykh geteanskikh motivakh u Pushkina* [Doklad] [Invisible Faust: on some Getean motives in Pushkin [Report]]. 11 December. Available at: https://youtu.be/Az4MqW6x_4g (Accessed: 26 April 2023).

Kant, I. (1965) “Kritika prakticheskogo razuma” [“Criticism of practical reason”], in Kant, I. *Sochineniya: v 6 tomakh. Tom 4, ch. 1* [Works: in 6 vols. Vol. 4, part 1]. Moscow: Mysl', pp. 311–504.

Lebedeva, O. B. (2002) “Zhanrovo-rodovye funktsii faustianskikh reministsentsii v romane A. S. Pushkina «Evgenii Onegin»” [“Genre-generic functions of Faustian reminiscences in A. S. Pushkin’s novel ‘Eugene Onegin’”], in *Problemy literaturnykh zhanrov: Materialy X Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posvyashchennoi 400-letiyu g. Tomska. 15–17 oktyabrya 2001 g. Ch. 1* [Problems of literary genres: Materials of the 10th International scientific conference dedicated to the 400th anniversary of Tomsk. October 15–17. Part 1]. Tomsk: TGU Press, pp. 129–133.

Liotaer, Zh.-F. (1998) *Sostoyanie postmoderna* [The state of postmodernity]. Transl. from the French by H. A. Shmatko. Moscow: Institut eksperimental'noi sotsiologii [Institute of Experimental Sociology]; St. Petersburg: Aleteiya.

Mikushevich, V. B. (2011) *Chudnoe mgnoven'e. Gete, Russo, Pushkin* [A wonderful moment. Goethe, Rousseau, Pushkin]. 16 December. Available at: <https://stihi.ru/2011/12/16/188> (Accessed: 26 April 2023).

Porus, V. N. (2008) “Obzhit' katastrofu. Sovremennye razmyshleniya o dukhovnoi kul'ture Rossii” [“To live in a catastrophe. Modern reflections on the spiritual culture of Russia”], in Porus, V. N. *U kraya kul'tury. Filosofskie ocherki* [At the edge of culture. Philosophical essays]. Moscow: Kanon+, pp. 408–433.

Pushkin, A. S. (1959–1962) *Sobranie sochinenii: v 10 tomakh* [Collected works: in 10 vols] (10 vols). Ed. by D. D. Blagoi et al. Moscow: Goslitizdat.

Ryabushkina, T. M. (2020) *Strukturoopredelyayushchie osnovaniya soznaniya* [*The structure-defining foundations of consciousness*]. Moscow: Izdatel'skii dom NIU VShE [Publishing House of the Higher School of Economics].

Rorti, R. (1997) “Relyativizm: naidennoe i sdellanoe” [“Relativism: found and done”], in *Filosofskii pragmatizm Richarda Rorti i rossiiskii kontekst* [*Richard Rorty's philosophical pragmatism and the Russian context*]. Ed. by A. Rubtsov. Moscow: Fond «Traditsiya» [Tradition Foundation], pp. 11–44.

Fridlender, G. M. (1995) *Pushkin. Dostoevskii. Serebryanyi vek* [*Pushkin. Dostoevsky. Silver age*]. St. Petersburg: Nauka.

Tsvetaeva, M. (1994) “Poet i vremya” [“Poet and time”], in Tsvetaeva, M. *Sobranie sochinenii: v 7 tomakh. Tom 5: Avtobiograficheskaya proza. Stat'i, Esse. Perevody* [*Collected works: in 7 vols. Vol. 5: Autobiographical prose. Articles. Essays. Translations*]. Moscow: Ellis Lak, pp. 329–345.

Ekkerman, I. P. (1981) *Razgovory s Gete v poslednie gody ego zhizni* [*Conversations with Goethe in the last years of his life*]. Transl. from the German by N. Man. Moscow: Khudozhestvennaya literatura [Artistic literature].

Информация об авторе: Ренард Тимурович Девликамов — стажер-исследователь Международной лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального диалога Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Адрес: Российская Федерация, 105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4.

Information about the author: Renard T. Devlikamov — Research Assistant at the International Laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue, National Research University “Higher School of Economics” (HSE University). Address: 21/4 Staraya Basmannaya Str., Moscow, 105066, Russian Federation.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 15.08.2023;
одобрена после рецензирования 01.03.2024;
принята к публикации 10.03.2024.

The article was submitted 15.08.2023;
approved after reviewing 01.03.2024;
accepted for publication 10.03.2024.